

может поддерживать человека: *être favorisé par la fortune*. Но все же для фортуны немаловажны человеческие качества – она улыбается смелым: *La fortune sourit aux audacieux*; она им приходит на помощь: *La fortune vient en aide au audacieux (aux braves)*; при этом: *Bien danse à qui la fortune chante (prov.)* – «Тому хорошо поется (танцуется), кому счастье (судьба) улыбнется», как свидетельствует французская пословица [3, с.497]. Фортуне также свойственны физические недостатки, а именно слепота: *fortune aveugle* и такие женские качества, как изменчивость, непостоянство: *fortune changeante, inconstante*. И, чтобы сохранить, удержать, задержать фортуны, французы считают необходимым вбить гвоздь в ее колесо: *Attacher un clou à la roue de la Fortune; la roue de la Fortune* – колесо фортуны [3, с. 908].

Но человек отвечает за свою судьбу: *être artisan de son fortune* «быть создателем, творцом своей судьбы» [7, с. 380]. С этой точки зрения, интересен оборот *Soldat, officier de fortune*. Выражение может иметь два противоположных значения: 1) продвижение благодаря сложившимся обстоятельствам без участия человеческого фактора (пейоративно) и наоборот, подчеркивая человеческий фактор; 2) быстрое достижение намеченного благодаря личным заслугам (позитивно) [7, с. 380].

Фортуна раздает свои милости, почести: *faveurs de la fortune* [3, с.465], *caresses de la fortune* [3, с.186]. Но она не всегда благоприятствует человеку. В таком случае человек получает удар судьбы – *coup de fortune* [3, с.496].

У фортуны есть свои баловни: *élu de la fortune* – «избранник фортуны», *favori de la fortune* – «баловень судьбы» [3, с.464], есть и впавшие ей в немилость: *les disgraciés de la fortune* «обиженные, обойденные судьбой» [3, с.356]; но при этом французы подчеркивают, что чаще счастье достается дуракам: *La fortune rit aux sots (prov.)* [3, с.497].

Человек может быть знаком с разными фортунами: *connaître des fortunes (très) diverses* «испытывать превратности судьбы» [3, с.497]. О человеке со сложившейся судьбой французы говорят: *homme à bonnes fortunes* [3, с.559]. *Bonne fortune* – это и богатство, и удача, и успех, и счастливый случай, и везение; *bonnes fortunes* любовное похождение, свидание [3, с.496]. **Fortune** – это и успех у женщин: *homme à bonnes fortunes* покоритель женских сердец, ловелас, *être en bonne(s) fortune(s)* «завести роман» [7, с.380]. *Haute fortune* – процветание, благосостояние [3, с.496]. *Belle fortune* – это крупное состояние [3, с.495]. Состояния можно лишиться *renverser la fortune*, «перевернув» фортуны [3, с.497]; его можно проесть: *manger sa fortune, croquer une fortune*; за фортуной–богатством можно гнаться: *courir à (après) la fortune*, фортуны–карьеру можно строить, делать: *Faire la fortune de qn* [3, с.497]; фортуны–счастье можно искать: *chercher fortune*, искушать: *tenter fortune*.

**Выводы:** Таким образом, концепт **DESTIN** (судьба) по-разному представляется анализируемыми синонимами, которые могут выступать в свободном и связанном значении. В **destin** присутствует неумолимость, непреклонность, враждебность, безжалостность и необратимость; в **destinée** преобладает идея покорности человека судьбе и даже обреченности, зависимости от высшего указания; в то время как **fortune** приобретает более реальные человеческие черты – счастье и несчастье человека, его богатство, карьера, успех у женщин, счастливый случай, удача, везение и т.п.

В дальнейшем предполагается расширить контуры данного концепта за счет анализа более широкого круга синонимов, а также реконструировать этот концепт в сопоставительном аспекте.

#### Источники и литература:

1. Космеда Т.А., Гажева И.Д. Аспекти і методика вивчення слова у контексті зміни лінгвістичних парадигм // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 39–46.
2. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие / В.А.Маслова. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 296 с.
3. Французско–русский фразеологический словарь / Под ред. Я.И. Рецкера. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 1112 с.
4. Чернейко Л.О., Долинский В.А. Имя “судьба” как объект концептуального и ассоциативного анализа // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. – 1996. – № 6. – С. 20–41.
5. Bénac H. Dictionnaire des synonymes. – Paris: Hachette, 1974. – 1026 p.
6. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / Par Paul Robert. Les mots et les associations d'idées. – Paris: Le Robert, 1980. – V. I–VII.
7. Dictionnaire des expressions et locutions / Par A. Rey et S. Chantreau. – Paris: Le Robert, 1998. – 888 p.

#### Перзек А.Б.

#### ЭСХАТОЛОГИЯ ПОЭМЫ А.С.ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

Большинство исследователей «Петербургской повести» отмечает тесное взаимодействие в её структуре космогонического и эсхатологического мифов с доминированием эсхатологических смыслов. В. Н. Топоров отмечает, что «если своими истоками миф Медного Всадника уходит в миф творения города, то своим логическим продолжением он имеет эсхатологический миф о гибели Петербурга» [12, с.23]. Об «эсхатологической, библейской направленности пушкинской поэмы, рассказывающей не о возникновении или расцвете петербургской культуры, а о её начале и падении» [4, с.11], пишет И. В. Немировский. Великое произведение Пушкина осмысливается и как «поэма о разрушенном Доме. Образ Дома, – считает Г. Зотов, – один из центральных в «Медном всаднике» [2, с.41]. Правда, раздаются голоса и о том, что «в современной науке активизировалась мифологизированная трактовка пушкинской поэмы, непомерно преувеличивающая

её апокалиптическое эсхатологическое звучание» [10, с.95]. Однако, на наш взгляд, трудно преувеличить то, что является содержанием этого произведения и составляет его семантическую основу, представляя авторским замыслом и органично определяя возникновение устойчивой парадигмы в восприятии пушкиноведением.

В то же время, нельзя считать, что в трудах о «Медном всаднике» в достаточной степени проработано конкретное текстуальное выражение эсхатологии. Скорее названы её некоторые узнаваемые мифопоэтические принципы, обозначена общая модель, но как это не парадоксально выглядит, ощущается известная неопределённость понимания этого важнейшего смыслового комплекса поэмы и, соответственно, глубины и своеобразия историософских, провиденциальных и гуманистических аспектов концепции произведения. Порой доходит до таких крайностей в её интерпретации, которые находятся за реальными смысловыми пределами текста: «Мифологический круг замкнулся. Сгинуло заколдованное медное царство» [5, с.43].

Целью настоящей статьи выступает предметное, опирающееся на текст рассмотрение возникновения и функционирования эсхатологических смыслов поэмы. Актуальность подобного исследования определяется необходимостью дальнейшего осмысления уникального пушкинского произведения и его особой роли в отечественном литературном процессе.

Согласно определению эсхатологических мифов, данному в Мифологической энциклопедии, они выделяются тем, что «содержат пророчества о будущем конце света» [14, с.670]. Мифы о катастрофах, отделяющих мифические времена от настоящего, при этом собственно эсхатологическими не считаются. По логике вещей, в эсхатологию должно включаться всё, что противоположно космогонии и связано с действием сил, несущих разрушение и гибель, независимо от прошедшего или будущего времени этих событий, их локального или глобального масштаба, включённости в цикл обновления мира или носящих окончательный характер, как в христианской апокалиптике. «Гибель мира – лейтмотив эсхатологических мифов» [1, с.309] – такой подход выглядит универсальным и продуктивным, включая в себя все конкретные варианты действия сил разрушения космоса. В нашем исследовании подобная определённость понимания эсхатологии носит принципиальный характер, позволяя обрести единый угол зрения на сюжетно–событийную систему произведения и увидеть сущность сквозной авторской концепции мира.

Подчеркнём, что эсхатология как проявление сил хаоса в прошлом, настоящем или грядущем, возможна только при наличии сил космоса. Отсюда взаимосвязь этих универсальных начал нерасторжима, как это видно в поэме «Медный всадник», где воплощена сложнейшая структура их отношений. При этом эсхатологическое начало, возникающее в мифопоэтике произведения, имеет две основные линии своего развития, связанные с судьбой города Петра и судьбой Евгения.

В древних мифах есть много описаний, как Боги по тем или иным причинам насылают силы хаоса на города, земли, людей нередко в наказание за плохое поведение. В «Петербургской повести» происходит пушкинская трансформация этой схемы: Пётр в роли демиурга задумывает строительство города исключительно во имя государственного блага. В преображении природной среды, в заключении в камень стихии реки, а если раскрыть метафорику этого образа – в державное русло жизненной стихии, торжествовал пафос созидания новой европейской цивилизации.

Однако в образно-событийной системе поэмы показано, как и почему созидание оборачивается катастрофой. И связано это с сущностью Медного всадника, которая изображена поэтом прежде всего в эпизоде прозрения Евгения, перетекающим в сцену его преследования ожившей статуей. Роковой волей воплощённого в ней строителя «Под морем город основался...», что стало причиной нависшей над городом гибели от «покорённой стихии». Сам всадник ужасен. Его окружает мрак, в нём сокрыта огромная и, по логике пушкинского описания, недобрая сила, поднявшая на дыбы Россию. По фигуре Медного всадника в поэме определяется образ его исторического действия, суть которого насилие, неумолимость, бесчеловечность («И обращён к нему спиною» – характеристика из другого фрагмента текста) невиданных масштабов во имя реализации своих грандиозных планов через страдания и жертвы.

Именно в Медном всаднике заключена причина гибельности его мира, непримиримой вражды воды и камня, которая неожиданно обозначается в финале Вступления после утопической картины величественного, прекрасного, благодатного града, сопрягаемого с Россией, в структуре текста, которая напоминает заклинание:

Красуйся, град Петров, и стой  
Неколебимо, как Россия.  
Да умирится же с тобой  
И побеждённая стихия,  
Вражду и плен старинный свой  
Пусть волны финские забудут... [8, с.262].

Именно здесь берёт начало эсхатологический пророческий смысл, связанный с нависшей над городом угрозой. Исполнению этой угрозы посвящено сюжетное изображение в обеих частях поэмы.

В фигуре зловещего Медного всадника исследователи справедливо замечают печать семантики всадника Апокалипсиса, выступающего знаком конца света. Эсхатологическую семантику можно найти так же в самой семантике меди. «Медь (цвет осени), – отмечает В. Н. Топоров, – соотносится с достижением надежд и упадком» [13, с.147]. Причина катастрофы прсматривается в поэме также в том, что навеки застывший демиург предстаёт в созданном им мире в качестве кумира, истукана – т. е. ложного, подменного Бога. И в этом аспекте потоп можно осмыслить в произведении как наказание от истинного

Бога: «Народ /Зрит Божий гнев и казни ждёт» [8, с.266]. То же восприятие беды у правящего царя: «С божией стихией/ Царям не совладать» [8 с.266].

Эсхатологическое начало проявляется в лишь намеченном поэтом мотиве гибели прежнего мира под напором нового, который возникает из упоминания о померкнувшей старой Москве, явно представляющей здесь как метафора прежнего бытия, и упоминания о некогда блиставшем, и так же померкшем славном родовом имени Евгения. Эти события произошли в прошлом времени, и если исходить из изображённой сущности Медного всадника, должны были носить характер катастрофы, не имеющей в произведении развёрнутого сюжетного воплощение и уходящей в таком случае в фигуру умолчания.

Потоп в поэме «Медный всадник» традиционно рассматривался в библейском духе, наиболее близком нашей культуре и, несомненно, имевшем огромное воздействие на Пушкина. Наблюдения над преданиями об этом событии в Ветхом Завете и других мифологических источниках говорят о том, что « как катастрофу потоп никогда не считали последним..., он разрушает формы, но не силы, оставляя возможность для повторного продолжения жизни» [3, с.411]. В свете этого важно проследить своеобразие эсхатологии потопы в поэме «Медный всадник».

Во-первых, в своём главном мифопоэтическом значении как наступление сил хаоса, водной бездны, бунт стихии губителен. Он нарушает равновесие мира, что отражается в негативном соотношении сил в важнейших бинарных оппозициях, описывающих его модель: сухое/мокрое («Вкруг него//Вода и больше ничего»), живое/мёртвое («тела валяются»), свет/тьма («Над омрачённым Петроградом»). Пушкин создал невероятно ёмкий, пластичный, полный драматизма образ разверзшейся катастрофы. Здесь и свирепый натиск злых волн, и разрушение крова, и многочисленные жертвы, и поистине трагическая невозможность людей спастись от гибели, когда дом перестаёт быть защитой («...страхом обуялый/И дома тонуций народ»), что выражает нарушение равновесия сил в оппозиции внутренний/внешний.

В картине разгула потопы на уровне смыслов мифопоэтики в поэме можно увидеть присутствие Змея как воплощение сил хаоса, разрушения, проявляющего свою древнюю мифологическую сущность в образе разбушевавшейся стихии-реки. На этот образ точно накладываются основные признаки данной фигуры, широко распространённой в мировом фольклоре, которые выделяют исследователи. По наблюдениям В.Я.Проппа, Змей управляет водами и приводит их в движение, но он также носитель и огненной природы. «Эти две черты, – пишет учёный, – вовсе не исключают друг друга, они часто соединяются» [7, с.217], чему находим подтверждение у Пушкина: «Но, торжеством победы полны/Ещё кипели злобно волны,/Как бы под ними тлел огонь» [8,с.268].К указанной семантике относятся и жертвы напавшего на город, но насытившегося и отступившего чудовища.

Вражда стихии в «Медном всаднике» всегда давала основание находить в ней семантику «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», реминисценции пугачёвщины в ипостаси жестокой разбойной удали. Таким образом, выступая важнейшим носителем эсхатологического начала поэмы, тема потопы является в ней полисемантической.

Своеобразие пушкинского изображения потопы заключается в том, что в произведении вызванная им катастрофа носит не окончательный, а циклический характер. После разрушительного приступа, под ударами которого город всё же устоял, энергия стихии исчерпывается, она возвращается в свои берега, а в городе «Уже прикрыто было зло./В порядок прежний всё вошло» [8, с.269]. Пушкин описывает послепотопный период восстановления привычной жизни, её возвращение к исходным позициям, продолжение бытия космоса, построенного Петром – Медным всадником. Другое дело, что в отражение пушкинской концепции этот космос теперь лишён утопического блеска, характерного для его описания во Вступлении, а восстановленное в нём течение жизни несёт на себе печать приземлённого прагматизма и обыденности.

Однако через год ненастье, а вместе с ним угроза возвращаются, пусть в этот раз и не с такой интенсивностью: «Дышал/Ненастный ветер. Мрачный вал/Плескал на пристань...» [8, с.270]. Эта цикличность приближения и отступления потопы в поэме «как бы развёрнута на будущее, на уловление смыслов из последующей русской истории» [6, с.16].Она подразумевает в конечной перспективе всепогрушающий для города – мира девятый вал не смирившейся, враждебной стихии и наступление последних апокалиптических времён, когда прервётся замкнутый цикл бытия.

В истории России в 1917 году так и произошло, в чём проявился трагический пророческий дар Пушкина, провиденциальная мудрость его гениальной поэмы, средствами своей мифопоэтики «формулирующей» российский исторический код. Не случайно ещё до революции эсхатологические смыслы «Медного всадника» были широко восприняты литературой начала XX века [11, с.82–101], а затем ярко обозначились в послеоктябрьский период [9, с.119–128], что позволило пушкинскому произведению выступить в роли инвариантного текста и проявило его мощный интертекстуальный потенциал.

Вторая линия эсхатологии «Петербургской повести» связана с образом Евгения. Здесь мы имеем дело с особой её разновидностью, проявляющейся в разрушении мира отдельного человека и его физической гибели. Она не была известна классическим мифам, где все рассказы о катастрофах носили надличностный характер, и возникла в новое время как некая «личностная эсхатология» всячески с развитием идей гуманизма в художественных концепциях. В русской литературе становление этого принципа, когда самым главным мерилом всему происходящему в мире выступает прежде всего человеческая цена, имеет своими истоками прежде всего творчество Пушкина.

Живя в строго регламентированном мире Медного всадника, где есть «праздные счастливы», и будучи обречён в нём на очень скромное положение, Евгений стремится построить свой семейный космос – «приют смиренный и простой». Дом Параша, с которым были связаны все надежды героя на безоблачное счастье «до гроба», становится для него центром мироздания. Однако под ударами стихии сметён дом,

гибнет невеста, Евгений испытывает душевные муки и гибнет сам. Под пером поэта возникает образ личного Апокалипсиса героя, который имеет несколько составляющих. Эсхатологический смысл приобретает риторический вопрос, к которому герой пришёл от мечтаний о семейной идиллии и который в тексте поэмы подан так, что в равной мере может принадлежать и автору:

...иль вся наша

И жизнь ничто, как сон пустой,

Насмешка неба над землёй? [8, с.267].

Это пронзительное ощущение непрочности и неподлинности, хрупкости, невесомости человеческого существования, бессмысленности житейских планов, полной зависимости от могущественных сил. Одновременно это страшное прозрение того, как легко разверзается гибельная бездна для каждого человека, поверившего в устойчивость мира, осознаваемое в поэме сквозь призму судьбы Евгения.

Зловещее описание Медного всадника, о котором говорилось выше, дано через восприятие «нашего героя», прозревающего в нём причину гибели своего космоса («...чьей волей роковой...»). В угрозе Евгения «державцу полумира» присутствует эсхатологическое начало, поскольку исполнение её – вопрос времени. Точно также оно присутствует и в сцене преследования статуей бунтовщика поневоле. Характерный пушкинский штрих: он гибнет, но на его месте селится бедный поэт, в концепции автора «Медного всадника» – носитель свободного мироощущения и особого неподвластного никому дара, не кланяющийся царям. Это создаёт в поэме мотив продолжения преследования деспотической властью осмелившейся на инакомыслие личности, обращённый вектором в будущее.

Евгений явился в «Петербургской повести» неотмирным героем, его гибель, попавшего между двух борющихся могущественных сил, была неизбежна. Вместе со всеми обитателями города он был уязвим, незащищён перед лицом стихии, в бунте которой был виновен Медный всадник. При этом у героя была своя, персональная трагическая вина перед властным кумиром – он мечтал выстроить свой космос как альтернативу величественному и бездушному граду, он проник в зловещую суть и гибельный просчет Медного всадника и бросил ему вызов, который, правда, потом пытался искупить смирением, но это дело уже не меняло.

Выше говорилось о циклическом характере потопа в «Медном всаднике» и о восстановлении после него привычного течения жизни. Поэт даёт развёрнутый образ восполнения утрат и продолжения городского космоса – «В порядок прежний всё вошло». Но по контрасту с этим в образе Евгения, не сумевшего смириться с потерей невесты, крахом надежд, страдающего и гибнущего, воплотилась пушкинская идея невозможности человеческих потерь и произошла трансформация классической эсхатологической мифомодели в сторону обретения ею гуманистического измерения. Это был пушкинский христианский гуманизм, оплодотворивший последующую русскую литературу – отдельный человек не просто носитель родовых черт и даже не только неповторимый мир, но он больше мира, поскольку воплощает в себе образ Божий. Поэтому его гибель – это и личный Апокалипсис, и общая невозможная утрата.

Вывод. Такой предстаёт сложная структура эсхатологического мифа в художественном пространстве «Медного всадника», тяготеющего к традиционным моделям и отходящего от них. Он организует смысловые ряды произведения и несёт на себе неповторимую печать пророческого авторского мировидения Пушкина. Подтверждённые дальнейшим историческим развитием, пушкинские смыслы создали поэме уникальное место и роль в контексте русской культуры.

### Источники и литература

1. Альбедиль М.Ф. В магическом круге мифов. – СПб.: «Паритет», 2002. – 336с.
2. Зотов Г. Стихия и кумир. Над страницами «Медного всадника» // Истина и жизнь. – 2004. – № 2. – С.38–46.
3. Кэрлот Х.Э. Словарь символов. – М.: «REFL – book», 1994. – 608 с.
4. Немировский И.В. «Библийская тема в «Медном всаднике»// Русская литература. – 1990. – №3. – С. 3–17.
5. Новикова М.А. Пушкинский космос. – М.: Наследие, 1995. – 353 с.
6. Осповат А.Л., Тименчик Р.Д. «Печальную повесть сохранить...» – М.: Книга, 1987. – 352 с.
7. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 365 с.
8. Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10-ти т. – Л.: Наука, 1977 – 1978гг. Т. III. – С.260–273.
9. Пьяных М. «Медный всадник» в восприятии русских писателей и философов трагического XX столетия // Нева, 2003, №5. – С.119 – 128.
10. Сысоева Н.П. «Медный всадник А.С.Пушкина как новый тип русского национального эпосотворчества XIX века// Третьи международные Измайловские чтения. В 2-х ч. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2003. – Ч.1. – С. 293–104.
11. Тименчик Р.Д. «Медный всадник в литературном сознании XX века // Проблемы пушкиноведения : Сб. науч. трудов. – Рига: Изд-во ЛГУ им. П.Стучки, 1983. – С.82–101.
12. Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. – С.–Петербург: «Искусство – СПб», 2003. – 616с.
13. Топоров В.Н. Металлы // Мифы народов мира: в 2-х т. – М.: Сов. Энциклопедия, 1992. Т.2. – С.146–147
14. Эсхатологические мифы // Мифы народов мира: в 2-х т. – М.: Сов. Энциклопедия, 1992. –Т.2. – С.670–671.